

УПЫРЬ

Бал был очень многолюден. После шумного вальса Руневский отвел свою даму на ее место и стал прохаживаться по комнатам, посматривая на различные группы гостей. Ему бросился в глаза человек, по-видимому, еще молодой, но бледный и почти совершенно седой. Он стоял, прислонясь к камину, и с таким вниманием смотрел в один угол залы, что не заметил, как пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться. Руневский, возбужденный странным видом незнакомца, воспользовался этим случаем, чтоб завести с ним разговор.

— Вы, верно, кого-нибудь ищете, — сказал он, — а между тем ваше платье скоро начнет гореть.

Незнакомец оглянулся, отошел от камина и, пристально посмотрев на Руневского, ответил:

— Нет, я никого не ищу; мне только странно, что на сегодняшнем балу я вижу упырей!

— Упырей? — повторил Руневский. — Как упырей?

— Упырей, — подтвердил очень хладнокровно незнакомец. — Вы их, бог знает почему, называете

вампирами, но я могу вас уверить, что им настоящее русское название «упырь», а так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад и из упыря сделали вампира. Вампир, вампир! — повторил он с презрением. — Это все равно, что если бы мы, русские, говорили вместо «привидения» «фантом» или «ревенант»!

— Но каким бы образом попали сюда вампиры или упыри? — спросил Руневский.

Вместо ответа незнакомец протянул руку и указал на пожилую даму, которая разговаривала с другою дамою и приветливо поглядывала на молодую девушку, сидевшую возле нее. Разговор, очевидно, касался девушки, ибо она время от времени улыбалась и слегка краснела.

— Знаете ли вы эту старуху? — спросил он Руневского.

— Это бригадирша Сугробина, — ответил тот. — Я ее лично не знаю, но мне говорили, что она очень богата и что у нее недалеко от Москвы есть прекрасная дача совсем не в бригадирском вкусе.

— Да, она точно была Сугробина несколько лет назад, но теперь она не что иное, как самый гнусный упырь, который только ждет случая, чтобы насытиться человеческою кровью. Смотрите, как она глядит на эту бедную девушку: а ведь это ее родная внучка. Послушайте, что говорит старуха: она ее

расхваливает и уговаривает приехать недели на две к ней на дачу, на ту самую дачу, про которую вы говорите, — но я вас уверяю, что не пройдет и трех дней, как бедняжка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление легких, но вы им не верьте!

Руневский слушал и не верил ушам своим.

— Вы сомневаетесь? — продолжал тот. — Никто, однако, лучше меня не может доказать, что Сугробина упырь, ибо я был на ее похоронах. Если бы меня тогда послушались, то ей бы вбили осиновый кол между плечами для предосторожности. Ну да что прикажете? Наследники были в отсутствии, а чужим какое дело...

В эту минуту подошел к старухе какой-то оригинал в коричневом фраке, в парике, с большим Владимирским крестом на шее и со знаком отличия за сорок пять лет беспорочной службы. Он держал обеими руками золотую табакерку и еще издали протягивал ее бригадирше.

— И это упырь? — спросил Руневский.

— Без сомнения, — отвечал незнакомец. — Это статский советник Теляев, большой приятель Сугробиной, который умер двумя неделями прежде нее.

Приблизившись к бригадирше, Теляев улыбнулся и шаркнул ногой. Старуха также улыбнулась и, опустив пальцы в табакерку статского советника, спросила:

— С донником, мой батюшка?

— С донником, сударыня, — отвечал сладким голосом Теляев.

— Слышите? — сказал незнакомец Руневскому. — Это слово в слово их ежедневный разговор, когда они еще были живы. Теляев всякий раз, встречаясь с Сугробиной, подносил ей табакерку, из которой она брала шепотку, спросив наперед, с донником ли табак. Тогда Теляев отвечал, что с донником, и садился возле нее.

— Скажите мне, — спросил Руневский, — каким образом вы узнаете, кто упырь, а кто нет?

— Это совсем не мудрено. Что касается этих двух, то я не могу в них ошибаться, потому что знал их еще прежде смерти, и (мимоходом буде сказано) немало удивился, встретив их между людьми, которым они довольно известны. Надобно признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей? Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, шелкают языком. Это по-настоящему не шелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют.

Тут к Руневскому подошел один щеголь и напомнил ему, что он его *vis-a-vis**. Все пары уже стояли на месте, и так как у Руневского еще не было дамы, то он поспешил пригласить ту молодую девушку, которой незнакомец пророчил скорую смерть, ежели она согласится ехать к бабушке на дачу. Во время танца он имел случай рассмо-

* Сидящий или стоящий напротив (*фр.*).

треть ее с примечанием. Она была лет семнадцати; черты лица ее, уже сами по себе прекрасные, имели какое-то необыкновенно трогательное выражение. Можно было подумать, что тихая грусть составляет ее постоянный характер, но когда Руневский, разговаривая с нею, касался смешной стороны какого-нибудь предмета, выражение это исчезало, а вместо него появлялась самая веселая улыбка. Все ответы ее были остроумны, все замечания — разительны и оригинальны. Она смеялась и шутила без всякого злословия и так чистосердечно, что даже те, которые служили целью ее шуткам, не могли бы рассердиться, если б они их слышали. Видно было, что она не гоняется за мыслями и не изыскивает выражений, но что первые рождаются внезапно, а вторые приходят сами собою. Иногда она забывалась, и тогда опять облако грусти помрачало ее чело. Переход от веселого выражения к печальному и от печального к веселому составлял странную противоположность. Когда стройный и легкий стан ее мелькал между танцующими, Руневскому казалось, что он видит не существо земное, но одно из тех воздушных созданий, которые, как уверяют поэты, в месячные ночи порхают по цветам, не сгибая их под своей тяжестью. Никогда никакая девушка не производила на Руневского такого сильного впечатления, и тотчас после танца он попросил, чтоб его представили ее матери.

Вышло, что дама, разговаривавшая с Сугробиной, была не мать ее, а какая-то тетка, которую

звали Зориной и у которой она воспитывалась. Руневский узнал после, что девушка уже давно сирота. Сколько он мог заметить, тетка ее не любила. Бабушка ее ласкала и называла своим сокровищем, но трудно было угадать, от чистого ли сердца происходили ее ласки. Сверх этих двух родственниц у нее никого не было на свете. Одинокое положение бедной девушки еще более возбудило участие Руневского, но, к сожалению его, он не мог продолжать с ней разговора. Толстая тетка, после нескольких пошлых вопросов, представила его своей дочери, жеманной барышне, которая тотчас им завладела.

— Вы много смеялись с моей кузиной, — сказала она ему. — Кузина любит смеяться, когда бывает в духе. Я чаю, всем от нее досталось?

— Мы мало говорили о присутствующих, — отвечал Руневский. — Разговор наш более касался Французского театра.

— Право? Но признайтесь, что наш театр не заслуживает даже, чтоб его бранили. Я всегда страх как скучаю, когда туда езжу, но делаю это для кузины; маменька по-французски не понимает, и для нее все равно, есть ли театр или нет, а бабушка и слышать про него не хочет. Вы еще не знаете бабушки: это в полном смысле слова бригадирша. Поверите ли, она сожалеет, что мы более не пудримся.

Софья Карповна (так называли барышню), посмеявшись насчет бабушки и желая ослепить Руневского своею колкостью, перешла и к про-

чим гостям. Более всех от нее доставалось одному маленькому офицеру с черными усами, который очень высоко прыгал, танцуя французскую кадрили.

— Посмотрите, пожалуйста, на эту фигуру, — говорила она Руневскому. — Можно ли видеть что-нибудь смешнее ее и можно ли для нее придумать фамилию приличнее той, которой она гордится: его зовут Фрышкин! Это самый несносный человек в Москве, и, что всего досаднее, он себя считает красавцем и думает, что все в него влюблены. Смотрите, смотрите, как его эполеты хлопают о плечи! Мне кажется, он скоро проломает паркет!

Софья Карповна продолжала злословить всех и каждого, а Фрышкин между тем, приняв сердитый вид и закручивая усы, прыгал самым отчаянным образом. Руневский, глядя на него, не мог удержаться от смеха. Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословие насчет бедного Фрышкина. Наконец Руневскому удалось избавиться от докучливой собеседницы. Он подошел к ее толстой матери, попросил позволения ее навещать и завел разговор с бригадиршей.

— Смотри ж, мой батюшка, — сказала ему ласково старуха, — к Зориной-то ходи, к Федосье Акимовне, да и меня, грешную, не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то балагурить! В наше время не то было, что теперь: тогда молодые люди меньше франтили да больше слушали стариков; куцых-то фраков не носили, а не хуже вашего

одевались. Ну, не в укор тебе сказать, а на что ты похож, мой батюшка, со своими хвостиками-то? Птица не птица, человек не человек! Да и обхождение-то было другое: учтивее люди были, нечего сказать! А офицеры-то не ломались на балах, вот как этот Фрышкин, а дрались-то не хуже ваших. Вот как покойный мой Игнатий Савельич, бывало, начнет рассказывать, как они под турку-то ходили, так индо слушать страшно. Мы, говорит, стоим себе на Дунае, говорит, с графом Петром Александровичем, а на той стороне турка стоит; наших-то не много, да и все почти новички, а ихних-то тьма-тьмушая. Вот от матушки-государыни повеленье пришло к графу: перейди, дескать, через Дунай да разбей басурмана! Нечего делать, не хотелось графу, а послушался, перешел через Дунай, с ним и мой Игнатий Савельич. В наше время не рассуждали, мой батюшка: куда велят идти, туда и шли. Вот стали осаждать крепость-то басурманскую, что зовут Силистрией, да силы не хватило: начал отступать граф Петр Александрович, а они-то, некрести, и заслонили ему дорогу. Прищемили его между тремя армиями; тут бы ему и живот кончить, да и моему Игнатью Савельичу с ним, если б немец-то, Вейсман, не выручил. Напал он на тех, что переправу-то стерегли, да и разбил в пух супостата, даром что немец. Тут же и Игнатий Савельич был, и ногу ему прострелили басурманы, а Вейсмана-то убили совсем. Что ж, мой батюшка? Граф-то переправился на свою сторону да тотчас и начал готовиться опять к бою

с некрестями! Не уступлю, дескать; знай наших! Вот каковы, мой батюшка, в старину люди-то были, не вашим чета, даром что куцых-то фраков не носили, не в укор тебе буде сказано!

Старуха еще много говорила про старину, про Игнатия Савельича и про Румянцева.

— Вот приехал бы ты ко мне на дачу, — сказала она ему под конец, — я бы тебе показала портрет и графа Петра Александровича, и князя Григория Александровича, и моего Игнатья Савельича. Живу я не так, как живали прежде: не то теперь время, — а гостям всегда рада. Кто меня вспомнит, тот и завернет ко мне в Березовую Рощу, а мне-то оно и любо. Семен Семенович, — прибавила она, указывая на Теляева, — меня также не забывает и через несколько дней обещался ко мне приехать. Вот и моя Дашенька у меня погостит; она доброе дитя и не оставит своей старой бабушки. Не правда ли, Даша?

Даша молча улыбнулась, а Семен Семенович поклонился Руневскому, вынул из кармана золотую табакерку, обтер ее рукавом и поднес ему обеими руками, сделав при этом шаг назад, вместо того чтоб сделать его вперед.

— Рад служить, рад служить, матушка Марфа Сергеевна, — сказал он сладким голосом бригадирше, — и даже... если бы... в случае... то есть...

Тут Семен Семенович щелкнул точно так, как описывал незнакомец, и Руневский невольно вздрогнул, вспомнив о странном человеке, с которым разговаривал в начале вечера, и, увидев его

на том же месте, возле камина, обратился к Сугробиной и спросил ее: не знает ли она, кто он? Старуха вынула из мешка очки, протерла их платком, надела на нос и, поглядев на незнакомца, ответила:

— Знаю, батюшка, знаю: это господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии, только он, бедняжка, уж три года как помешался в уме. А все это от модного воспитания. Ведь кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие края! Пошатался там года с два да и приехал с умом наизнанку. — Сказав это, она своротила разговор на кампании Игнатия Савельича.

Вся тайна обращения господина Рыбаренко объяснилась теперь в глазах Руневского. Он был сумасшедший, бригадирша Сугробина — добрая старушка, а Семен Семенович Теляев не что иное, как оригинал, который щелкал только потому, что заикался, или потому, что у него недоставало зубов.

Прошло несколько дней после бала, и Руневский короче познакомился с тетушкой Даши. Сколько Даша ему нравилась, столько же он чувствовал отвращения к Федосье Акимовне Зориной. Она была женщина лет сорока пяти, замечательно толстая, очень неприятной наружности и с большими притязаниями на щегольство и на светское обращение. Недоброжелательство ее к племяннице, которое, несмотря на свои старания, она часто не могла скрыть, Руневский приписал тому,

что собственная ее дочь, Софья Карповна, не имела ни Дашиной красоты, ни молодости. Софья Карповна, казалось, сама это чувствовала и старалась всячески отомстить своей сопернице. Она была так хитра, что никогда открыто не злоговорила, но пользовалась всеми случаями, когда могла неприметно подать о ней невыгодное мнение. Между тем Софья Карповна притворялась ее искреннею приятельницею и с жаром извиняла ее мнимые недостатки.

Руневский заметил с самого начала, что ей очень хочется его пленить, и сколько это ни было ему неприятно, но он почел за нужное не показывать, до какой степени она ему противна, и старался обходиться с нею как можно учтивее.

Общество, посещавшее дом Зориной, состояло из людей, которых не встречали в высших кругах и из коих бóльшая часть, по примеру хозяйки дома, проводила время в сплетнях и злословии. Среди всех этих лиц Даша являлась как светлая птичка, залетевшая из цветущей стороны в темный и неопрятный курятник. Но, хотя она не могла не чувствовать пред ними своего превосходства, ей и в мысль не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коих привычки и воспитание так мало согласовывались с тем родом жизни, для которого она была рождена. Руневский удивлялся ее терпению, когда из снисхождения к старикам она слушала их длинные рассказы, не занимавшие ее нисколько; удивлялся ее постоянной приветливости к этим барыням и барышням, из коих бóльшая

часть не могла ее терпеть. Не раз также он был свидетелем, как она, со всей приличной скромностью, иногда одним только взглядом, удерживала молодых франтов в границах должной почтительности, когда в разговорах с нею им хотелось забыться. Мало-помалу Даша привыкла к Руневскому. Она уже не старалась скрыть своей радости при его посещениях; казалось, внутреннее чувство говорило ей, что она может положиться на него как на верного друга. Доверенность ее с каждым днем возрастала; она уже поверяла ему иногда свои маленькие печали и, наконец, однажды призналась, как несчастлива в доме своей тетки.

— Я знаю, — сказала она, — что они меня не любят и что я в тягость; вы не поверите, как это меня мучит. Хотя я с другими смеюсь и бываю весела, но зато как часто, наедине, я горько плачу!

— А ваша бабушка? — спросил Руневский.

— О, бабушка совсем другое дело! Она меня любит, всегда меня ласкает и не иначе со мной обходится, когда мы одни, как при чужих. Кроме бабушки и еще старой маменькиной гувернантки, я думаю, нет никого, кто бы меня любил! Эту гувернантку зовут Клеопатрой Платоновной: она меня знала еще ребенком, только с ней я и могу разговаривать про маменьку. Я так рада, что увижу ее у бабушки на даче. Не правда ли, вы также туда заедете?

— Непременно приеду, если это вам не будет неприятно.

— О, напротив! Не знаю почему, хотя я с вами знакома только несколько дней, но мне кажется,

будто бы я вас знаю уж так давно, так давно, что и не припомню, когда мы в первый раз виделись. Может быть, это оттого, что вы мне напоминаете двоюродного брата, которого я люблю как родного и который теперь на Кавказе.

Однажды Руневский застал Дашу с заплаканными глазами. Боясь ее еще более расстроить, он притворился, будто ничего не примечает, и начал разговаривать об обыкновенных предметах. Даша хотела отвечать, но слезы брызнули из ее глаз, она не могла выговорить ни слова, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.

Через некоторое время вошла Софья Карповна и стала извинять Дашу в странности ее поступка.

— Мне самой стыдно за сестрицу, — сказала она, — но это такой ребенок, что малейшая безделица может привести ее в слезы. Сегодня ей очень хотелось ехать в театр, но, к несчастью, никак не могли достать ложи, и это ее так расстроило, что она еще долго не утешится. Впрочем, ежели бы знали все ее хорошие качества, вы бы ей охотно простили эти маленькие слабости. Я думаю, нет на свете существа добрее ее. Кого она любит, тот хоть сделай преступление, она найдет средство его извинить и уверить всех, что он прав. Зато уж об ком она дурного мнения, того она не оставит в покое и всем расскажет, что она об нем думает.

Таким образом, Софья Карпова, расхваливая бедную Дашу, успела намекнуть Руневскому, что она малодушна, пристрастна и несправедлива. Но слова ее не произвели на него никакого впе-

чатления: он в них видел одну только зависть, — и вскоре удостоверился, что не ошибся в своем предположении.

— Вам, вероятно, показалось странным, — сказала ему на другой день Даша, — что я от вас ушла, когда вы со мной говорили; но, право, я не могла сделать иначе. Я нечаянно нашла письмо от моей бедной маменьки: теперь уж девять лет, как она скончалась, — я была еще ребенком, когда его получила, и оно мне так живо напомнило время моего детства, что я не могла удержаться от слез, когда при вас об нем подумала. Ах как я тогда была счастлива! Как я радовалась, когда получила это письмо! Мы тогда были в деревне, маменька писала из Москвы и обещалась скоро приехать. Она в самом деле приехала на другой день и застала меня в саду. Я помню, как вырвалась из рук нянюшки и бросилась к маменьке на шею.

Даша остановилась и некоторое время молчала, словно забывшись, потом продолжила:

— Вскоре потом маменька вдруг, без всякой причины, сделалась больна, стала худеть и чахнуть и через неделю скончалась. Хорошая бабушка до самой последней минуты от нее не отходила. Она по целым ночам сидела у ее кровати и за ней ухаживала. Я помню, как в последний день ее платье было покрыто маменькиной кровью. Это на меня сделало ужасное впечатление, но мне сказали, что маменька умерла от чахотки и кровохарканья. Вскоре я переехала к тетюшке, и тогда все переменялось!

Руневский слушал Дашу с большим участием.

Он старался превозмочь свое смущение, но слезы показались на его глазах, и, не будучи в состоянии удержать долее порыва своего сердца, он схватил ее руку и крепко сжал.

— Позвольте мне быть вашим другом, — вскричал он, — положитесь на меня! Я не могу вам заменить той, которую вы потеряли, но, клянусь честью, буду вам верным защитником, доколе останусь жив!

Он прижал ее руку к горячим устам, она приклонила голову к его плечу и тихонько заплакала. Чьи-то шаги послышались в ближней комнате.

Даша легонько оттолкнула Руневского и сказала ему тихим, но твердым голосом:

— Оставьте меня; я, может быть, дурно сделала, что предалась своему чувству, но не могу себе представить, что вы чужой: внутренний голос мне говорит, что вы достойны доверия.

— Даша, любезная Даша! — вскричал Руневский. — Еще одно слово! Скажите, что вы меня любите, и я буду самый счастливый смертный!

— Можете ли вы в этом сомневаться? — ответила она спокойно и вышла из комнаты, оставив его пораженным этим ответом и в недоумении, поняла ли она точный смысл его слов.

В тридцати верстах от Москвы находится село Березовая Роща. Еще издали виден большой каменный дом, выстроенный по-старинному и осененный высокими липами, главным украшением просторного сада, который расположен на покатом пригорке, в регулярном французском вкусе.

Никто, видя этот дом и не зная его истории, не мог бы подумать, что он принадлежит той самой бригадирше, которая рассказывает про походы Игнатия Савельича и нюхает русский табак с донником. Здание было легким и вместе с тем величественным; можно было с первого взгляда угадать, что его строил итальянский архитектор, ибо оно во многом напоминало прекрасные виллы Ломбардии или окрестностей Рима. В России, к сожалению, мало таких домов, но они вообще отличаются своею красотою, как настоящие образцы хорошего вкуса прошедшего века, а дом Сугробиной можно бесспорно назвать первым в этом роде.

В один теплый июльский вечер окна казались освещенными ярче обыкновенного, и даже, что редко случалось, в третьем этаже видны были блуждающие огни, переходящие из одной комнаты в другую.

В это время на дороге показалась коляска, которая, поравнявшись с дачею, въехала через длинную аллею на господский двор и остановилась перед подъездом дома. К ней подбежал казачок в изорванном платье и помог выйти Руневскому.

Когда Руневский вошел в комнату, увидел множество гостей, из которых иные играли в вист, а другие разговаривали между собою. К числу первых принадлежала сама хозяйка, и против нее сидел Семен Семенович Теляев. В одном углу комнаты накрыт был стол с огромным самоваром, и за ним заседала пожилая дама, та самая Клеопатра Плато-

новна, о которой Руневскому говорила Даша. Она казалась одних лет с бригадиршей, но бледное лицо ее выражало глубокую горесть, как будто бы ее тяготила страшная тайна.

При входе Руневского бригадирша ласково его приветствовала.

— Спасибо тебе, батюшка, — сказала она, — что ты не забыл меня, старуху. А я уж начинала думать, что ты совсем не приедешь. Садись-ка возле нас, да выпей чайку, да расскажи нам, что у нас нового в городе.

Семен Семенович сделал Руневскому очень оригинальный поклон, коего характер невозможно выразить словами, и, вынув из кармана свою табакерку, сказал ему сладким голосом:

— Не прикажете ли? Настоящий русский, с донником. Я французского не употребляю, этот гораздо здоровее, да и к тому ж... в рассуждении насморка...

Громкий удар языком окончил эту фразу, и щелканье старого чиновника обратилось в неопределенное сосание.

— Покорно благодарю, — ответил Руневский, — я табаку не нюхаю.

Но бригадирша бросила недовольный взгляд на Теляева и, обратившись к соседке, сказала вполголоса:

— Что за неприятная привычка у Семена Семеновича вечно щелкать. Уж я бы на его месте вставила себе фальшивый зуб да говорила бы, как другие.

Руневский очень рассеянно слушал и бригадиршу, и Семена Семеновича. Взор его искал Дашу, и он увидел ее в кругу других девушек возле чайного стола. Она приняла его с обыкновенной своей приветливостью и спокойствием, которое могло бы показаться равнодушием. Что касается до Руневского, ему было трудно скрыть свое смущение, и неловкость, с которой он отвечал на ее слова, можно было принять за замешательство. Вскоре, однако, он оправился; его представили некоторым дамам, и он стал с ними разговаривать как ни в чем не бывало.

Все в доме бригадирши ему казалось необычайным: богатое убранство высоких комнат, освещенных сальными свечами; картины итальянской школы, покрытые пылью и паутиной; столы из флорентийской мозаики, на которых валялись недовязанные чулки, ореховая скорлупа и грязные карты, — все это, вместе с простонародными приемами гостей, со старосветскими разговорами хозяйки и со шелканьем Семена Семеновича, составляло самую странную смесь.

Когда приняли самовар, девушки захотели во что-нибудь играть и предложили Руневскому сесть за их стол.

— Давайте гадать, — сказала Даша. — Вот какая-то книга; каждая из нас должна по очереди ее раскрыть наудачу, а другая — назвать любую строчку с правой или с левой стороны. Содержание будет для нас пророчеством. Например, я начинаю. Господин Руневский, назовите строчку.

— Седьмая на левой стороне, считая снизу.

Даша прочитала:

— «Пусть бабушка внучкину высосет кровь».

— Ах, боже мой! — вскричали девушки смеясь. — Что это значит? Прочитайте это сначала, чтобы можно было понять!

Даша передала книгу Руневскому. Это был какой-то манускрипт, и он начал читать:

Как филин поймал летучую мышь,
Когтями сжал ее кости,
Как рыцарь Амвросий с толпой удальцов
К соседу собирается в гости.
Хоть много цепей и замков у ворот,
Ворота хозяйка гостям отопрет.
«Что ж, Марфа, веди нас, где спит твой старик?
Зачем ты так побледнела?
Под замком кипит и клубится Дунай,
Ночь скроет кровавое дело.
Не бойся, из гроба мертвец не встанет,
Что будет, то будет, — веди нас вперед!»
Под замком бежит и клубится Дунай,
Бегут облака полосую;
Уж кончено дело, зарезан старик,
Амвросий пирует с толпою.
В кровавые воды глядится луна,
С Амвросьем пирует злодейка жена.
Под замком бежит и клубится Дунай,
Над замком пламя пожара.
Амвросий своим удальцам говорит:
«Всех резать от мала до стара!
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,

Сама ж ты впустила веселых гостей!»
Сверкая, клубясь, отражает Дунай
Весь замок, пожаром объятый;
Амвросий своим удалцам говорит:
«Пора уж домой нам, ребята!
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых гостей!»
Над Марфой проклятие мужа гремит,
Он проклял ее, умирая:
«Чтоб сгинула ты и чтоб сгинул твой род,
Сто раз я тебя проклинаяю!
Пусть вечно иссякнет меж вами любовь,
Пусть бабушка внучкину высосет кровь!
И род твой проклятье мое да гнетет,
И места ему да не станет
Дотоль, пока замуж портрет не пойдет,
Невеста из гроба не встанет,
И, череп разбивши, не ляжет в крови
Последняя жертва преступной любви!»
Как филин поймал летучую мышь,
Когтями сжал ее кости,
Как рыцарь Амвросий с толпой удалцов
К соседу нахлынули в гости.
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых гостей!

Руневский замолчал, и ему опять пришли в голову слова того человека, которого он видел некоторое время назад на балу и который в свете слыл сумасшедшим. Пока он читал, Сугробина, сидя за карточным столом, со вниманием слушала, а когда он закончил, сказала:

— Что ты, мой батюшка, там за страсти читаешь? Уж не вздумал ли ты пугать нас, отец мой?

— Бабушка, — ответила Даша, — я сама не знаю, что это за книга. Сегодня в моей комнате передвигали большой шкаф, и она упала с самого верха.

Семен Семенович Теляев мигнул бригадирше и, повернувшись на стуле, сказал:

— Это, должно быть, какая-нибудь аллегория, что-нибудь такое метафорическое, гм!.. фантазия!..

— То-то, фантазия! — проворчала старуха с недовольным видом. — В наше время фантазий-то не писали, да никто бы их и читать не захотел! Вот что вздумали! Придет же в голову писать стихи про летучих мышей! Я их смерть как боюсь, да и филинов тоже. Нечего сказать, не трус был и мой Игнатий Савельич, как под турку-то ходил, а мышей и крыс терпеть не мог: такая у него уж натура была, — а все это с тех пор, как им в Молдавии крысы житья не давали. И провизию-то, мой батюшка, и амуницию — все поели. Бывало, заснешь, говорит, в палатке-то, ан крысы придут да за самую косу теребят. Тогда-то косы еще носили, мой батюшка, не то что теперь, взьероша волосы, ходят.

Даша шутила над предсказанием, а Руневский старался прогнать странные мысли, теснившиеся в голове, и ему удалось себя уверить, что ответственность читанных им стихов со словами господина Рыбаренко не что иное, как случай. Они продолжали гадать, а старики между тем кончили вист и встали из-за столов.

К крайней досаде Руневского, ему ни разу не удалось поговорить с Дашей так, чтобы их не слышали другие. Его мучила неизвестность: он знал, что Даша на него смотрит как на друга, но не был уверен в ее любви и не хотел просить руки ее, не получив на то позволения от нее самой.

В продолжение вечера Теляев несколько раз принимался щелкать, со значительным видом поглядывая на Руневского.

Около одиннадцати часов гости начали расходиться. Руневский простился с хозяйкою, и Клеопатра Платоновна, позвав одного лакея, коего пунцовый нос ясно обнаруживал пристрастие к крепким напиткам, приказала отвести гостя в приготовленную для него квартиру.

— В зеленых комнатах? — спросил питомец Бахуса.

— Разумеется, в зеленых! — отвечала Клеопатра Платоновна. — Разве ты забыл, что в других нет места?

— Да-да, — проворчал лакей, — в других нет места. Однако с тех пор, как скончалась Прасковья Андреевна, в этих никто еще не жил!

Разговор этот напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых привидениями. В этих сказках обыкновенно путешественник, застигнутый ночью на дороге, останавливается у одинокой корчмы и требует ночлега, но хозяин ему объявляет, что корчма уже полна проезжими, но что в замке, коего башни торчат из-за густого леса, он найдет покойную квартиру, если только

он человек нетрусливого десятка. Путешественник соглашается, и целую ночь привидения не дают ему заснуть.

Вообще когда Руневский вступил в дом Сугробиной, странное чувство им овладело, как будто что-то необыкновенное должно с ним случиться в этом доме. Он приписал это влиянию слов Рыбаренко и особенному расположению духа.

— Впрочем, мне все равно, — продолжал лакей, — в зеленых так в зеленых!

— Ну-ну, возьми свечку и не умничай!

Лакей взял свечку и повел Руневского во второй этаж. Прошедши несколько ступенек, он оглянулся и, увидев, что Клеопатра Платоновна ушла, стал громко сам с собой разговаривать:

— Не умничай! Да разве я умничаю? Какое мне дело до их комнат? Разве с меня мало передней? Гм, не умничай! Вот кабы я был генеральша, так я бы, разумеется, их не запираю, велел бы освятить, да и принимал бы в них гостей или сам жил. А то на что они? Какой от них прок?

— А что это за комнаты? — спросил Руневский.

— Что за комнаты? Позвольте, я вам сейчас растолкую. Блаженной памяти Прасковья Андреевна, — сказал он набожным голосом, остановясь среди лестницы и подымая глаза кверху, — дай Господь ей царство небесное...

— После, после расскажешь, — сказал Руневский, — прежде проводи меня.

Он вошел в просторную комнату с высоким камином, в котором уже успели разложить огонь.

Предосторожность эта, казалось, была взята не столько против холода, как для того, чтобы очистить спертый воздух и дать старинному покою более жилой вид. Руневского поразила женский портрет, висевший над диваном, близ небольшой затворенной двери. То была девушка лет семнадцати, в платье на фижмах, с короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренная и с розовым букетом на груди. Если бы не старинное одеяние, он бы непременно принял этот портрет за Дашин. Тут были все ее черты, ее взгляд, ее выражение.

— Чей это портрет? — спросил он лакея.

— Это она-то и есть, покойница Прасковья Андреевна. Господа говорят, что они похожи на Дарью Васильевну-с, но, признательно сказать, я тут сходства большого не вижу: у этой волосы напудренные-с, а у Дарьи Васильевны они темно-русого цвета. К тому же Дарья Васильевна так не одеваются, это старинный манер!

Руневский не считал за нужное опровергать логические рассуждения своего чичероне, но ему очень хотелось знать, кто была Прасковья Андреевна, и он спросил о ней у лакея.

— Прасковья Андреевна была сестрица бабушки теперешней генеральши-с. Они, извольте видеть, были еще невесты какого-то... как бишь его!.. ну, провал его возьми!.. Приехал он из чужих краев, скряга был такой престрашный!.. Я-то его не помню, а так понаслышке знаю, бог с ним! Он-то,

изволите видеть, и дом этот выстроил, а наши господа уже после всю дачу купили. Вот для него да для Прасковьи Андреевны приготовили эти покои, что мы называем зелеными, отделали их получше, оббили полы коврами, а стены обвешали картинами и зеркалами. Вот уже все было готово, как за день перед свадьбою жених вдруг пропал. Прасковья Андреевна тужили, тужили, да с горя и скончались. А матушка, вишь, их — это, выходит, бабушка нашей генеральши — купили дом у наследников, да и оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь-в-точь как они были при их жизни. Прочие покои несколько раз переделывали да обновляли, а до этих никто не смел и дотронуться. Вот и наша генеральша их до сих пор запирали, да, вишь, много наехало гостей, так негде было бы вашей милости ночевать.

— Но ты, кажется, говорил, что на месте генеральши велел бы освятить эти комнаты?

— Да, оно бы, сударь, и не мешало; куда лет шестьдесят никто крещеный не входил, там мудрено ли другим хозяевам поселиться?

Руневский попросил красноносого лакея, чтобы он теперь его оставил, но тот, казалось, был не очень расположен исполнить эту просьбу. Ему все хотелось рассказывать и рассуждать.

— Вот тут, — продолжил он, указывая на затворенную дверь возле дивана, — есть еще целый ряд покоев, в которых никто никогда не жил. Если б их отделать по-нынешнему да вынести из них старую

мебель, так они были бы еще лучше тех, где живет барыня. Ну да что прикажете: сами господа не догадуются, а у нашего брата совета не спросят!

Чтобы от него скорее избавиться, Руневский всунул ему в руку целковый и сказал, что ему теперь хочется спать и что он желает остаться один.

— Чувствительнейше благодарим, — ответил лакей, — желаю вашей милости спокойной ночи. Ежели вам что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, и я сейчас явлюсь к вашей милости. Ваш камердинер не то что здешний человек, им дом неизвестен, а мы, слава богу, впотьмах не споткнемся.

Он удалился, и Руневский еще слышал, как он, уходя с его человеком, толковал ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленых комнат.

Оставшись один, он заметил углубление в стене и в нем богатую кровать с штофными занавесами и высоким балдахинном, но либо из почтения к памяти той, для кого она была назначена, либо оттого, что ее считали беспокойною, ему приготовили постель на диване, возле маленькой затворенной двери.

Собираясь лечь, Руневский бросил еще взгляд на портрет, столь живо напоминавший ему черты, врезанные в его сердце, и подумал: «Вот картина, которая по всем законам фантастического мира должна ночью оживиться и повести меня в какое-нибудь подземелье, чтобы показать неотпетые свои кости!»

Но сходство с Дашей дало другое направление его мыслям. Потушив свечку, он старался заснуть, но никак не мог: мысль о Даше не давала ему покою. Он долго ворочался с боку на бок и наконец погрузился в какой-то полусон, где, как в тумане, вертелись перед ним: старая бригадирша, господин Рыбаренко, рыцарь Амвросий и Семен Семенович Теляев.

Тяжелый стон, вырвавшийся как будто из стесненной сильным отчаянием груди, его внезапно пробудил. Он открыл глаза и при свете огня, еще не погасшего в камине, увидел подле себя Дашу. Вид ее очень его удивил, но еще более поразило ее одеяние. На ней было совершенно такое платье, как на портрете Прасковьи Андреевны, к груди был приколот розовый букет, и в руке она держала старинное опахало.

— Вы ли это? — вскричал Руневский. — Об эту пору, в этом наряде!

— Мой друг, — ответила она, — если я вам мешаю, уйду прочь.

— Оставайтесь, оставайтесь! — возразил он. — Скажите, что вас сюда привело и чем я могу вам служить?

Она опять застонала, и стон этот был так страшен и выразителен, что пронзил ему сердце.

— Ах, — сказала она, — мне не много времени остается с вами говорить: я скоро должна возвратиться туда, откуда пришла, — а там так жарко!

Она опустила в кресло подле дивана, где лежал Руневский, и стала обмахивать себя опахалом.

— Где жарко? Откуда вы пришли? — спросил Руневский.

— Не спрашивайте меня, — ответила она, вздрогнув при его вопросе, — не говорите со мной об этом! Я так рада, что вас вижу, — прибавила она с улыбкой. — Вы долго здесь пробудете?

— Как можно дольше!

— И всегда будете здесь ночевать?

— Я думаю. Но зачем вы меня об этом спрашиваете?

— Для того, чтобы мне можно было говорить с вами наедине. Я всякую ночь сюда прихожу, но в первый раз вас здесь вижу.

— Это немудрено, я только сегодня приехал.

— Руневский, — сказала она, помолчав, — окажите мне услугу. В углу, возле дивана, на этажерке есть коробочка; в ней вы найдете золотое кольцо; возьмите его и завтра обручитесь с моим портретом.

— Боже мой! — воскликнул Руневский. — Чего вы от меня требуете!

Она в третий раз застонала еще жалобнее, нежели прежде.

— Ради бога, — взмолился он, не в силах удержаться от внутреннего содрогания, — не шутите надо мной! Скажите, что вас сюда привело? Зачем вы так нарядились? Сделайте милость, поверьте мне свою тайну!

Он схватил ее руку, но сжал только холодные костяные пальцы и почувствовал, что держит руку остова.

— Даша, Даша! — закричал он в исступлении. — Что это значит?

— Я не Даша, — ответило насмешливым голосом привидение. — Отчего вы приняли меня за Дашу?

Руневский чуть не упал в обморок, но в эту минуту послышался сильный стук в дверь и знакомый лакей вошел со свечою в руках.

— Чего изволите, сударь? — спросил он.

— Я тебя не звал.

— Да вы изволили позвонить. Вот и шнурок еще болтается!

Руневский в самом деле увидел шнурок от колокольчика, которого прежде не заметил, и в то же время понял причину своего испуга. То, что он принял за Дашу, был портрет Прасковьи Андреевны, а когда хотел взять ее за руку, схватил жесткую кисть шнурка, и ему показалось, что он держит костяные пальцы скелета.

Но он с нею разговаривал, она ему отвечала; он принужден был внутренне сознаться, что истолкование его не совсем естественно, и решил, что все виденное им — один из тех снов, которым на русском языке нет, кажется, приличного слова, но которые французы называют «*cauchemar*». Сны эти обыкновенно продолжаются и после пробуждения и часто, но не всегда, бывают сопряжены с давлением в груди. Отличительная их черта — ясность и совершенное сходство с действительностью.

Руневский отослал лакея и приготовился уснуть, как вдруг лакей опять явился в дверях. Пионы на

его носу уступили место смертельной бледности, он дрожал всем телом.

— Что с тобой? — спросил Руневский.

— Воля ваша, — ответил он, — я не могу ночевать в этом этаже и ни за что не войду опять в свою комнату!

— Да говори же: что в твоей комнате?

— Что в моей комнате? А то, что в ней сидит портрет Прасковьи Андреевны!

— Что ты говоришь! Это тебе показалось, оттого что ты пьян!

— Нет-нет, сударь, помилуйте! Я только хотел войти, как увидел, что она там, сердечная; прости меня, боже! Она сидела ко мне спиной, и я бы умер со страха, если б она оглянулась, да, к счастью, я успел тихонько уйти, и она меня не заметила.

В эту минуту вошел слуга Руневского и сказал дрожащим голосом:

— Александр Андреевич, здесь что-то нехорошо!

На вопрос Руневского он продолжал:

— Мы было поговорили с Яковом Антипычем, да и легли спать. Вдруг Яков Антипыч мне говорят: «Ваш барин звонит!» Я, признаться, засыпал, да к тому ж Яков Антипыч не совсем были в пропорции, вот я и думаю себе, что им так показалось; перевернулся на другой бок да и захрапел. Чуть только захрапел, слышу — кто-то «шарк, шарк», — да как будто каблучками постукивает. Я открыл глаза, да уж не знаю, увидел ли что или нет, а так холодом и обдало; вскочил и пустился бежать по коридору.

Теперь уж как прикажете, а позвольте мне ночевать где-нибудь в другом месте, хоть на дворе!

Руневский решил исследовать эту загадку. Надев халат, он взял в руку свечу и отправился туда, где, по словам Якова, была Прасковья Андреевна. Яков и слуга Руневского следовали за ним и дрожали от страха. Дошедши до полурастворенной двери, Руневский остановился. Всех его сил едва достало, чтобы выдержать зрелище, представившееся его глазам.

То самое привидение, которое он видел у себя в комнате, сидело тут в старинном кресле и казалось погруженным в размышления. Черты лица его были бледны и прекрасны, ибо то были черты Даши, но оно подняло руку — и рука эта была костяная! Привидение долго на нее смотрело, потом горестно покачало головой и застонало.

Стон этот проник в самую глубину души Руневского.

Он, сам себя не помня, отворил дверь и увидел, что в комнате никого нет. То, что казалось ему привидением, было не что иное, как пестрая ливрея, повешенная через спинку кресла, которую издали можно было принять за сидящую женщину. Руневский не понимал, как он до такой степени мог обмануться. Но ни слуга его, ни лакей все еще не решались войти в комнату.

— Позвольте мне ночевать поближе к вам, — сказал лакей, — оно все-таки лучше. Да и к тому ж, если вы меня потребуете, буду у вас под рукою. Извольте только крикнуть: «Яков!»

— Позвольте уж и мне остаться с Яковом Антипычем, а то неравно...

Руневский воротился в свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми в коридоре. Остаток ночи Руневский провел спокойно, но когда проснулся, он не мог забыть своего приключения.

Сколько он ни заговаривал о зеленых комнатах, но всегда бригадирша или Клеопатра Платоновна находили средство своротить разговор на другой предмет. Все, что он мог узнать, было то же, что ему рассказывал Яков: тетушка Сугробиной, будучи еще очень молода, должна была выйти за богатого иностранца, но за день перед свадьбою жених исчез, а бедная невеста занемогла от горести и вскоре умерла. Многие даже в то время уверяли, что она отравила себя ядом. Комнаты, назначенные для нее, остались в том же виде, как были первоначально, и никто до приезда Руневского не смел в них входить. Когда он удивлялся сходству старинного портрета с Дашей, Сугробиная ему говорила:

— И немудрено, мой батюшка: ведь Прасковья-то Андреевна мне родная тетка, а я родная бабушка Даши. Так что ж тут необыкновенного, если они одна на другую похожи? А что с Прасковьей-то Андреевной несчастье случилось, так и этому нечего удивляться. Вышла бы за нашего, за русского, так и теперь бы еще жива была, а то полюбился ей бродяга какой-то! Нечего сказать, и в наше время

иногда затмение на людей находило; только не прогневайся, батюшка, а все-таки умнее люди были те-перешних!

Семен Семенович Теляев ничего не говорил, а только потчевал Руневского табаком и щелкал и сосал попеременно.

В этот день Руневский нашел случай объяснить с Дашей и открыл свое сердце старой бригадирше. Она сначала очень удивилась, но нельзя было заметить, чтобы его предложение ей было неприятно. Напротив того: она поцеловала его в лоб и сказала, что, с ее стороны, она не желает для своей внучки жениха лучше Руневского.

— А что касается Даши, — прибавила она, — то я давно заметила, что ты ей понравился. Да, мой батюшка, даром что старуха, а довольно знаю вашу братию молодежь! Впрочем, в наше время дочерей-то не спрашивали: кого выберет отец или мать, за того они и выходили, а право, женить-бы-то счастливее были! Да и воспитание было другое, не хуже вашего. И в наше время, отец мой, науками-то не брезгали да фанаберии-то глупой девкам в голову не вбивали, оттого и выходили они поскромнее ваших попрыгуний-то. Вот и я, мой батюшка, даром что сама по-французски не говорю, а взяла же гувернантку для Дашиной матери, и учителя-то к ней ходили, и танцмейстер был. Всему научилась, нечего сказать, а все-таки скромной и послушной девушкой осталась. Да и сама-то я за Игнатя Савельича по воле отцов-

ской вышла, а уж полюбила-то его как! Не заплачусь, бывало, как в поход ему идти придется, да нечего делать, сам, бывало, рассердится, как плакать-то начну. Что ты, говорит, Марфа Сергеевна, расхныкалась-то? На то я и бригадир, чтоб верой и правдой матушке-государыне служить! Не за печкой же сидеть мне, пока его сиятельство граф Петр Александрович будет с турками воевать! Ворочусь — хорошо! Не ворочусь — так уж по крайней мере долг свой исполню по-солдатски! А мундир-то какой красивый на нем был: весь светло-зеленый, шитый золотом, воротник алый, — сапоги как зеркало!.. Да что я, старуха, заболталась про старину-то! Не до того тебе, мой батюшка, не до того; поезжай-ка в Москву да попроси Дашиной руки у тетки ее, у Зориной Федосьи Акимовны: от нее Даша зависит, она опекунша. А когда Зорина-то согласится, тогда уж приезжай сюда женихом да поживи с нами. Надобно ж тебе покороче познакомиться с твоей будущей бабушкой!

Старуха еще много говорила, но Руневский уж ее не слушал: бросился в коляску и помчался в Москву.

Уже было поздно, когда Руневский приехал домой, и почел за нужное отложить свой визит к Дашиной тетушке до другого утра. Между тем сон его убежал, и он, пользуясь лунной ночью, пошел ходить по городу без всякой цели, единственно чтоб успокоить волнение своего сердца.

Улицы были уже почти пусты, лишь изредка раздавались на тротуарах поспешные шаги или

сонно стучали о мостовую дрожки извозчиков. Вскоре и эти звуки утихли, и Руневский остался один посреди огромного города и самой глубокой тишины. Пройдя всю Моховую, он повернул в Кремлевский сад и хотел идти еще дальше, как на одной скамье увидел человека, погруженного в размышления. Когда он поравнялся со скамьей, незнакомец поднял голову, месяц осветил его лицо, и Руневский узнал господина Рыбаренко. В другое время встреча с сумасшедшим не могла бы ему быть приятна, но в этот вечер, как будто нарочно, он все думал о Рыбаренко. Напрасно он сам себе повторял, что все слова этого человека не что иное, как бред расстроенного рассудка; что-то ему говорило, что Рыбаренко не совсем сумасшедший, что он, может быть, не без причины облакает здравый смысл своих речей в странные формы, которые для непосвященного должны казаться дикими и несвязными, но коими он, Руневский, не должен пренебрегать. Его даже мучила совесть за то, что он оставил Дашу одну в таком месте, где ей угрожала опасность.

Увидев его, Рыбаренко встал и, протянув руку, сказал, улыбаясь:

— У нас, видно, одни вкусы. Тем лучше! Сядем вместе и поболтаем о чем-нибудь.

Руневский молча опустился на скамью, и некоторое время оба сидели, не говоря ни слова.

Наконец Рыбаренко прервал молчание:

— Признайтесь, что, когда мы познакомились на балу, вы приняли меня за сумасшедшего?

— Не могу скрыть, — ответил Руневский, — что вы мне показались очень странным. Ваши слова, ваши замечания...

— Да-да, ничего удивительного в том, что я вам показался странным. Меня рассердили проклятые упыри. Да, впрочем, и было за что сердиться: я никогда не видывал такого бесстыдства. Что, вы после никого из них не встречали?

— Я был на даче бригадирши Сугробиной и видел там тех, которых вы называли упырями.

— На даче у Сугробиной? — повторил Рыбаренко. — Скажите, поехала ли к ней ее внучка?

— Она теперь у нее, я видел ее недавно.

— Как, и она еще жива?

— Конечно, жива. Не прогневайтесь, почтенный друг, но мне кажется, что вы сильно наклепали на бедную бригадиршу. Она предобрая старушка и любит свою внучку от чистого сердца.

Рыбаренко, казалось, не слышал последних слов Руневского. Он приставил палец к губам с видом человека, ошибшегося в своем расчете, потом наконец сказал:

— Странно, упыри обыкновенно так долго не мешкают. А Теляев там?

— Там.

— Это меня еще более удивляет. Теляев принадлежит к самой лютой породе упырей: он куда кровожаднее Сугробиной. Но это так недолго продолжится, и если вы принимаете участие в бедной девушке, я вам советую взять свои меры как можно скорей.

— Воля ваша, — сказал Руневский, — я никак не могу думать, чтоб вы говорили серьезно. Ни старая бригадирша, ни Теляев мне не кажутся упырями.

— Как, — возразил Рыбаренко, — вы в них ничего не заметили необыкновенного? Вы не слышали, как Семен Семенович щелкает?

— Слышал, но, по мне, это еще не достаточная причина, чтоб обвинять человека, почтенного летами, служащего уже более сорока пяти лет беспорочно и пользующегося общим уважением.

— О, как вы мало знаете Теляева! Но положим, что он щелкает без всякого намерения, неужели вас ничто не поразило во всем быту бригадирши? Неужели, проведя ночь у нее в доме, вы не почувствовали ни одного содрогания, ни одного из тех минутных недугов, которые напоминают нам, что мы находимся вблизи существ нам антипатических и принадлежащих другому миру?

— Что касается до такого рода ощущений, то я не могу сказать, чтобы их не имел, но я все приписал своему воображению и думаю, что почувствовал их у Сугробиной, как мог бы почувствовать и во всяком другом месте. К тому ж характер и приемы бригадирши, столь противоположные с архитектурой и убранством ее дома, без сомнения, много содействуют особенному расположению духа тех, кто ее посещает.

Рыбаренко улыбнулся.

— Вы заметили архитектуру ее дома? Прекрасный фасад! Совершенно в итальянском вкусе! Только будьте уверены, что не одно устройство

дома на вас подействовало. Послушайте, — схватил он руку Руневского, — будьте откровенны, скажите мне как другу, не случилось ли с вами чего-нибудь особенного на даче у старой Сугробиной?

Руневский вспомнил о зеленых комнатах, и так как Рыбаренко невольно внушал ему доверие, то он не почел за нужное что-либо от него скрывать и все ему рассказал так точно, как оно было. Рыбаренко слушал его со вниманием и сказал, когда он закончил:

— Напрасно вы приписываете воображению то, что действительно с вами случилось. История покойной Прасковьи Андреевны мне известна. Если хотите, я вам когда-нибудь ее расскажу; впрочем, самые любопытные подробности могла бы вам сообщить Клеопатра Платоновна, если б только захотела. Но, ради бога, не говорите легкомысленно о вашем приключении: оно имеет довольно сходства и более связи, нежели вы теперь можете подозревать, с одним обстоятельством моей жизни, которое я должен вам сообщить, чтобы предостеречь.

Рыбаренко некоторое время молчал, словно собирался с мыслями, и, прислонившись к липе, возле которой стояла скамья, начал наконец:

— Три года назад предпринял я путешествие в Италию для восстановления расстроенного здоровья, в особенности чтобы лечиться виноградным соком. Прибыв в город Комо, на известном озере, куда обыкновенно посылают больных для этого рода лечения, услышал я, что на площади

piazza Volta есть дом, уже около ста лет необитаемый и известный под названием «чертова дом» (la cassa del diavolo). Почти всякий день, шагая из предместья borgo Vico, где была моя квартира, в albergo* del Angelo, чтобы навещать одного приятеля, я проходил мимо этого дома, но, не зная о нем ничего особенного, никогда не обращал на него внимания. Теперь, услышав странное его название и несколько любопытных о нем преданий, вовсе одно на другое не похожих, я нарочно пошел на piazza Volta и с особенным примечанием начал его осматривать. Наружность не обещала ничего необыкновенного: окна нижнего этажа с толстыми железными решетками, ставни везде затворены, стены обклеены объявлениями о молитвах по умершим, а ворота заперты и ужасно запачканы.

В стороне была лавка цирюльника, и мне пришлось в голову туда зайти, чтобы спросить, нельзя ли осмотреть внутренность чертова дома.

Входя, увидел я аббата, развалившегося в кресле и обвязанного грязным полотенцем. Толстый цирюльник, засучив рукава, тщательно и проворно мылил ему бороду и даже, в жару действия, нередко мазал его по носу и по ушам, что, однако, аббат сносил с большим терпением.

На вопрос мой цирюльник отвечал, что дом всегда заперт и что едва ли хозяин дозволит для кого-либо отпереть его. Не знаю почему, цирюльник

* Постоялый двор, гостиница (*итал.*).

принял меня за англичанина и, делая руками пояснительные знаки, рассказал очень красноречиво, что уже несколько моих соотечественников старались получить позволение войти в этот дом, но что попытки их оставались тщетными, ибо дон Пьетро де Урджина им всегда отвечал наотрез, что дом его не трактир и не картинная галерея.

Пока цирюльник говорил, аббат слушал его со вниманием, и я не раз заметил, как под толстым слоем мыльной пены странная улыбка показывалась на его губах.

Когда цирюльник, окончив свою работу, обернул ему лицо полотенцем, он встал, и мы вместе вышли из лавки.

— Могу вас уверить, синьор, — сказал он, обращаясь ко мне, — что вы напрасно так беспокоитесь и что чертов дом несколько не заслуживает вашего внимания. Это совершенно пустое строение, и все, что вы могли о нем слышать, не что иное, как выдумка самого дона Пьетро.

— Помилуйте, — возразил я, — зачем бы хозяину клепать на свой дом, когда он, при таком стечении иностранцев, мог бы отдавать его внаем и получать большой доход?

— На это есть более причин, чем вы думаете, — ответил аббат.

— Как, — спросил я с удивлением, вспомнив известный анекдот про Тюренна, — неужели он делает фальшивую монету?

— Нет, — возразил аббат, — дон Пьетро — большой чудака, но честный человек. Говорят про него,

что он торгует запрещенными товарами и что даже связан с известным контрабандистом Титта Каннелли, но я этому не верю.

— Кто такой Титта Каннелли? — спросил я.

— Когда-то он был лодочником на нашем озере, но раз на рынке поспорил с товарищем и убил его на месте. Совершив преступление, он убежал в горы и сделался начальником контрабандистов. Говорят, будто ввозимые им из Швейцарии товары он складывает на одной вилле, принадлежащей дону Пьетро; еще говорят, что кроме товаров на той же вилле он сохраняет большие суммы денег, приобретенные им вовсе не торговлею. Повторяю вам, я не верю этим слухам.

— Скажите же, ради бога, что за человек ваш дон Пьетро и что значит вся эта история про чертов дом?

— Это значит, что дон Пьетро, чтобы скрыть одно событие, случившееся в его семействе, и отвлечь внимание от настоящего места, где случилось это событие, распустил о городском доме своем множество слухов, один нелепее другого. Народ с жадностью бросился на эти рассказы, возбуждавшие любопытство, и забыл о приключении, которое первоначально дало им повод.

Надобно вам знать, что хозяину чертова дома больше восьмидесяти лет. Отец его, которого так же звали дон Пьетро де Урджина, не пользовался уважением своих сограждан. В неурожайные годы, когда половина жителей умирали с голоду, он, имея огромные запасы хлеба, продавал его по необык-

новенно высокой цене, несмотря на несметные свои богатства. В один из таких годов, не знаю для чего, предпринял он путешествие в ваше отечество. Я давно заметил, что вы не англичанин, а русский, несмотря на то что синьор Финарди, мой цирюльник, уверен в противном. Итак, в один из самых несчастных годов старый дон Пьетро отправился в Россию, поручив все дела своему сыну, теперешнему дону Пьетро.

Между тем настала весна, новые урожаи обещали обильную жатву, и цена на хлеб значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлеб стал нипочем. Сын дона Пьетро, которому отец, уезжая, оставил строгие наставления, сначала так дорожился, что не много сбывал своего товара, потом ему не стали уже давать цены, назначенной отцом, и, наконец, перестали к нему приходиться вовсе. В нашем краю, слава богу, неурожаи очень редки, и потому весь барыш, на который надеялся старый Урджина, обратился в ничто. Сын несколько раз ему писал, но перемена в цене произошла так быстро, что он не успел получить от отца разрешение ее убавить.

Многие уверяют, что покойный дон Пьетро был скуп до невероятности, но я думаю, что он скорее был большой злодей и притом такой же чудака, как и его сын. Письма последнего заставили его поспешно покинуть Россию и воротиться в Комо. Если бы дон Пьетро был так скуп, как говорят, то или продал бы свой хлеб по существующей цене,

или оставил его в магазинах, но он распустил в городе слух, что раздаст его бедным, а вместо того приказал весь запас вывалить в озеро. Когда же в назначенный день бедный народ собрался перед его домом, то он, высунувшись из окошка, закричал толпе, что хлеб ее на дне озера и что, кто умеет нырять, может там достать его. Такой поступок еще более унижил его в глазах жителей Комо, и они прозвали его злым, *il cattivo*.

В городе давно уже ходил слух, что он продал душу черту и что черт вручил ему каменную доску с каббалистическими знаками, которая до тех пор должна доставлять ему все наслаждения земные, пока не разобьется. С уничтожением ее магической силы черт, по договору, получил право взять душу дона Пьетро.

Тогда дон Пьетро жил в загородном доме, недалеко от *villa d'Este*. В одно утро приор монастыря Святого Севастьяна, стоя у окошка и глядя на дорогу, увидел человека на черной лошади, который остановился у окна и ему сказал: «Знай, что я черт и еду за Пьетро де Урджиной, чтобы отвести его в ад. Расскажи это всей братии!» Через некоторое время приор увидел того же человека, возвращающегося с доном Пьетро, лежащим поперек седла. Он скакал во весь опор, покрыв жертву свою черным плащом. Сильный ветер раздувал этот плащ, и приор мог заметить, что старик был в халате и в ночном колпаке: черт явился за ним неожиданно, застал его в постели и не дал времени одеться.

Вот что говорит предание. Дело в том, что дон Пьетро вскоре по возвращении из России пропал без вести. Сын его, чтоб прекратить неприятные толки, объявил, что он скоропостижно умер, и велел для формы похоронить пустой гроб. После погребения, пришедши в спальню отца, он увидел на стене картину, *al fresco**, которой никогда прежде не знал. То была женщина, играющая на гитаре. Несмотря на красоту лица, в глазах ее было что-то столь неприятное и даже страшное, что он немедленно приказал ее закрасить. Через некоторое время увидели ту же фреску на другом месте, опять закрасили, но не прошло и двух дней, как она явилась там же, где была в первый раз. Молодой Урджина так был этим поражен, что навсегда покинул свою виллу, приказав сперва заколотить двери и окна. С тех пор лодочники, проезжавшие мимо нее ночью, несколько раз слышали звук гитары и два поющих голоса: один старого дона Пьетро, другой неизвестно чей, но последний был так ужасен, что лодочники останавливались под окнами ненадолго.

— Вот видите, синьор, хоть и есть что-то необыкновенное в истории дона Пьетро, но оно относится к загородному дому на берегу озера, недалеко от *villa d'Este*, по ту сторону *Carpiccio*, а не к тому строению, которое вам так хотелось видеть.

— Скажите мне, — спросил я, — слышны ли еще на вилле дона Пьетро голоса и звук гитары?

* Фреска (*итал.*).

— Не знаю, — ответил аббат. — Но если это вас интересует, — прибавил он с улыбкой, — то кто вам мешает, когда сделается темно, пойти под окна виллы или, что еще лучше, провести там ночь?

Этого-то мне и хотелось.

— Но как туда войти? — спросил я. — Ведь вы говорите, что сын дона Пьетро велел заколотить двери и окна?

Аббат призадумался.

— Правда, — сказал он наконец. — Но если не ошибаюсь, то можно, забравшись на утес, к которому примыкает дом, спуститься в незаколоченное слуховое окно.

Разговаривая таким образом, мы, сами того не замечая, прошли весь borgo Vico и очутились на шоссе, ведущем вдоль озера к villa d'Este. Аббат остановился перед одним palazzo*, фасад которого казался выстроенным по рисункам славного Палладия. Величественная красота здания меня поразила, и я не мог понять, как, прожив столько времени в Комо, я ничего не слышал о таком прекрасном дворце.

— Вот вилла дона Пьетро, — сказал аббат, — вот утес, а вот то окно, в которое вы можете влезть, если угодно.

В голосе аббата было что-то насмешливое, и мне показалось, что он сомневается в моей смелости. Но я твердо решил во что бы то ни стало проникнуть тайну, сильно возбуждившую мое любопытство.

* Дворец (*итал.*).

В этот день мне не сиделось дома. Я рыскал по городу без цели, заходил в готический собор и без удовольствия смотрел на прекрасные картины Бернардино Луини. Я спотыкался о корзины с фигами и виноградом и раз даже опрокинул целый лоток горячих каштанов. Надобно вам знать, что в Комо каштаны жарят на улицах; обычай этот существует и в других итальянских городах, но нигде я не видел столько жаровен и сковород, как здесь. Добрые ломбардцы на меня не рассердились, но только смеялись от всего сердца и даже провожали благодарениями, когда за причиненный им убыток я им бросал несколько цванцигеров*.

Вечером было собрание в villa Sallazar. Бóльшая часть общества состояла из наших соотечественников, прочие почти все были австрийские офицеры или итальянцы, приехавшие из Милана посетить прелестные окрестности Комо.

Когда я рассказал о своем намерении провести следующую ночь в villa Urgina, надо мной сначала начали смеяться, потом мысль моя показалась оригинальною, а напоследок вызвалось множество охотников разделить со мной опасности этого предприятия. Замечательно, что не только я, но и никто из жителей Милана не знал о существовании этой виллы.

— Позвольте, господа, — сказал я, — если мы все пойдем туда ночевать, то экспедиция наша по-

* Цванцигер — австрийская серебряная монета. — *Примеч. ред.*